КОЛЫБЕЛЬ

Вставала мать часа в четыре
от петушиных голосов.
Впотьмах подтягивала гири
скрипучих ходиков-часов.
На ощупь лампу зажигала
еще вполглаза, в пол-ума
и править домом начинала,
как заведенная, сама.
Семилинейная, светлее
в ее заботах свет лучи,
где «Курской правдою» оклеен
посудный угол близ печи.
И ты, родная, по привычке
до первых проблесков зари
в печи огонь от новой спички
домашним солнцем сотвори.
Пока в углу картошку чистишь,
душой еще в недавних снах,
о чем на свете ни помыслишь,
и все опять же о сынах.
Как знать, добром ли выйдет путь им,
когда по прихоти благой
один из них — в литинституте
и в музучилище — другой?
Вне окоема черных пашен,
вне круга знаемых работ
и завлекателен и страшен
тебе сыновний выбор тот.
Но нынче нет большой причины
об их загадывать судьбе:
на лето целое, мужчины,
они приехали к тебе.

Стараясь двигаться нерезко,
ты над кроватью в некий миг
отодвигаешь занавеску,
чтобы взглянуть на спящих их.
В родном дому, покой дарящем,
превыше всех на свете крыш
над нами ты миротворящим
зеленым деревом стоишь.
И мы у снов своих во власти.
Влекут нас в дальние моря,
тяжелоруких, у запястий
наколотые якоря.
Нас не гнетет и не тревожит
там мысль из яви в ранний час,
что мы у матери, быть может,
гостим последний в жизни раз...
Гармония! Твои уроки
нам в ученичестве даны
лишь ликованием до срока
без ясно видимой цены.
Парим, под облаком курлычем,
то ощущенье потеряв,
что наш восторг дисгармоничен
по отношенью к матерям.
Нам рукомойник руки полнит
со сна студеною водой.
А мать как глянет, так и вспомнит:
исправить надо бы,— худой.
Сарай, где с крыши так ли мило
свистеть во всю ребячью прыть.
А мать все смотрит на стропила,
вздыхая: надо перекрыть.
Там сад. Тропинкою из сада
сейчас же на реку беги.
А мать вздохнет: еще бы надо
взрыхлить приствольные круги.

Мы бесхозяйственны. И это
на тот резон наводит мать,
что ей придется после лета
двух квартирантов подыскать.
А мы, поскольку мало трогал
нас домоводческий мотив,
обалдевали от восторга,
с порога в облако ступив.
От голубого окоема
поросший редким лозняком
зеленый вал, прихлынув к дому,
вбегал в него половиком.
За ним ботва в проулок лезла,
пел патефон, не видно где,
и пацанва ломилась резво
в недальний сад энкавэдэ.
Взмывал в подоблачную просинь
воздушный змей. И часом тем,
ладони в стороны разбросив,
я сам, мне кажется, летел.
Я замирал в сладчайшей муке
и до круженья в голове
гляделся в синь, раскинув руки,
на свежескошенной траве,
откуда в солнечную небыль,
как чудо звонкое земли,
со всех сторон взлетали в небо
стрекозы, пчелы и шмели.
В зенит воскинутый крылато,
я слушал птичью щебетню
и верил чувству, что когда-то
я тоже песню сочиню.
Не зря же с заводей и суши
такая музыка текла,
что овевала наши души
крылами света и тепла...

Мотиву солнечному внемля,
мы долго нежиться могли б,
но возвращала нас на землю
мать, выпевая: «Цып-цып-цып!»
Не меньший пласт земных историй
нам открывал родимый двор
немецкой каской, из которой
клевали куры комбикорм.
Мишенью — бомбам полутонным,
в воронках с глыбами внавал,
кусок земли за нашим домом,
чем ты Берлину досаждал?
Неужто был настолько страшен
кому-то наш тишайший дол,
что до воды задворки наши
бодал тринитротолуол?
Неужто страшным то и было,
что, алым пламенем горя,
отсюда именно светила
земле рассветная заря,
и был поэтому обмыслен
поход в ту землю, в ту зарю,
где жизнь текла по красным числам,
по красному календарю?
Мы здесь когда-то «мессершмиттов»
волну сносили за волной,
от взрывов бомбовых укрыты
лишь материнскою спиной.
Припав к ладони материнской,
я кожей чуял на лице,
как по нему с нажимом рыскал
вражды оптический прицел.
Но как осколки ни свистели,
как враг ни рвал и ни метал,
а вышло: рубленые стены
куда сильнее, чем металл.

Вот почему настолько розов
на небо нынешнее взгляд,
сквозь детства высохшие слезы
прекрасней юность во сто крат.
Здесь только мать, бывает, тужит,
когда, удерживая стон,
у стен сберкассы обнаружит
из алюминия жетон.
Как не тужить, когда повсюду,
кто взят морозом, кто — свинцом,
на месте этом стыли груды
солдат, совсем еще юнцов?
Горючей памятью палима,
мать видит женщин в той земле,
где был рожден носивший имя
Вильгельма, Германа, Кале.
Чем был он в тягость там, в Европе,
что он искал в чужих снегах,
у нас схороненный в окопе,
от сада в четырех шагах?..
В дернине общего погоста
от Сталинграда до Карпат
один немыслимого роста
с войны покоится солдат.
Лежит всесветною пропажей,
безвестной миру оттого,
что бирка с номером не скажет
о прежнем имени его.
Над ним полотнища рассвета
полощут в небе без числа,
на голизну его скелета
планета плотью наросла.
Ему давно открыло время
столь скудный смысл его пути,
что поздний вздох его прозренья
способен землю потрясти.

Над человеческими снами
мать с той надеждою стоит,
что новый день с ее сынами
погибели не сотворит.
Родного сердца зная склонность,
мы внемлем ей у этих стен:
особой меры просветленность
нам сообщается и тем.
Нам так отрадно ранней ранью
двора осмысливать уют
и доводить себя до знанья,
что нас самих осознают.
Объемный звон из каждой вещи,
кому-то плоскостной как раз,
стал многозначащей и вещей
природной песнею для нас.
И эта брошенная каска,
что колоколит у стены,
в ней материнская опаска:
— Ах, снова б не было войны!..—
Душе с войной не примириться,
вот почему близка и нам
веленьем боли материнской
молитва на ночь за Вьетнам.
Все это в нас живет не впусте,
с такой ли далью сводит близь,
коль, скажем, мать нас в клуб отпустит
с напутствием: — Не подерись!..
В том слове силу обретая
охранной грамоты любви,
к нам сходит заповедь святая
всех женщин мира:— Не убий!..—
Ах, плачи — наши и не наши—
из далей, тронутых бедой!..
Меж тем, недавние мамаши,
спешат молодки за водой.

Мать поглядит на хлопотуний,
и нас тот взгляд ее уест,—
что липли, мол, девчата к клуне,
а ни невесток, ни невест.
Жалею я, что незнакома
осталась клуне-куреню
москвичка та, чьи в адрес дома
я письма грустные храню.
И ей остался неизвестным
в краю наследственном моем
не бывший сдавленным и тесным
за нашим домом окоем.
Полей врачующая милость,
настой полыни во дворе,—
все это так бы пригодилось
в ее сегодняшней хандре.
Но был ей явно неугоден
и не читался между строк
с моей ли родины из родин
к письму приложенный цветок.
Напрасно ей из курской дали
я слал засохшее былье,—
на дачном юге выгорали
зонты цветастые ее.
Близ вечных гор, где пальмы в перьях,
ее вниманье занимал
мой столь шикующий соперник,
что тем и взял: феноменал.
Она в дарах его терялась,
подавлена, оглушена,
хоть было время: примерялась
к простому доннику она.
Но нас — не правда ли, Григорьич? —
не горе ело поедом
и даже попросту не горечь:
учил иному отчий дом.

Мой дом,
кому обязан стольким,
что он и сам обязан мне,—
с углом,
пропаханным осколком,
с подпалинами на стене,—
дом,
кем жива моя держава,
смертельный несшая урон,
когда у нас она держала
одну из главных оборон,—
дом словно б молвил:
«Слушай, парень,
потери нес не ты один.
Вполне целехонек сквозь пламя
еще никто не проходил.
Одним тебя на этот случай
я б мог утешить наперед:
тем сердце певчее певучей,
чем больше пламени вберет.
При деревянности природной,
представь, и я его не чужд:
и, необученный, но годный,
я тоже музыке учусь.
В предметах мудрости не чают,
но знает каждый блудный сын,
как бревна дома излучают
гармонию из сердцевин.
Былые скорби и печали
в торцах венцов своих тая,
пресветлые, что здесь звучали,
и песни к сердцу принял я.
Вот почему, какой бы серый
туман пути ни заволок,
бери себе созвучной мерой
ты стены, пол и потолок.

Пусть опалит любое пламя
твою бестрепетность,— не жаль!
воскреснет песней в переплаве
твоя сердечная печаль.
Из горестности в просветленность
и в этот раз откроет дверь
твоя не первая влюбленность
и не последняя, поверь...»
Не знаю, что звучало брату
в его раздумьях о себе,
а я уже тянулся свято
к той самой двери и скобе,
откуда слышался, как чудо,
восторгом душу захватив,
еще не явленный покуда,
но обозначенный мотив.
В нем внятен был вечерний воздух
и запах свежести с полей,
и небосвод в огромных звездах,
и шорох листьев тополей.
И, как рыдание от счастья,
в нем мнился столь родимый тон,
что верил я, и не отчасти:
меня за все утешит он...
В лад этой вере человечьей,
как плеском ливня, все село
живейшим слогом просторечья
пестрело, ухало, цвело.
Ошеломляюще и ново,
как птицы сказочной перо,
светилось утреннее слово,
поставленное на ребро.
О нас самих не по секрету
слова в проулке слышал я:
— Вот сыновья блеснут — и нету,
они и впрямь что молонья!.. —

Услышать было так ли мило
в наплыве самых добрых чувств,
что я (соседка насмешила)
в Москве на Пушкина учусь.
Как добросовестный разносчик,
смешинки в короб уложив,
я плоть их пробовал на ощупь,
на вкус, на цвет и на разрыв.
Забыв о яхонтах-рубинах,
гля́дел я в смутные досель
глубины высверков родимых
в словах «обапол» и «синель».
Мне их звучанья были внове.
Впервые на моем веку
я внятно слышал в каждом слове
тональность «Слова о полку».
Вникал я в «пажити» и «снеги»
молвы, определяя в ней
непреходящие побеги
былинной доблести корней.
В глубинах каждого присловья
я различал родной аккорд.
Как древний княжич — родословной,
наследным корнем был я горд.
Я знал, что мне опорой станет
тот изначальный жизни пласт,
что, став судьбою, не обманет
и до скончанья не предаст...
Сомкнув натруженные руки,
на нас поглядывала мать:
не странно ль, мол, мечты и звуки
всей жизни делом полагать?
Всех перебрав своих соседок,
она не знала дома, где б
сыны готовились вот эдак
впредь зарабатывать на хлеб.

Нам тоже думать было странно:
откуда в нас такая стать
из воспаренья, из тумана
наш хлеб насущный добывать.
И это там, где человека
то держит властное одно,
земное, сущее от века,
призванье: колос и зерно.
Нам путь в искусство уготован
лишь тем и был, что, нас любя,
взвалила мать за нас по дому
работы жернов на себя.
Парений наших невесомость
и отвлеченность наших лир
еще поставит наша совесть
больною темою в клавир...
Когда-то, в первую разлуку,
меня дарил такой же день
стеклянной капелькою звука
синички-птички: «тень» да «тень».
И нес я ношею отдельной,—
не зная, мелок ли, глубок,—
тот деревенский самодельный
дощатый короб-коробок.
С вокзала, в кепке внахлобучку,
в столичный вуз при свете дня
я внес судьбу свою за ручку
из сыромятного ремня,
чтоб там в досужих говорильнях
и размышлениях всерьез
увидеть: ценностей фамильных
с собой я, в общем, не унес.
А что унес — такая малость:
бесхитростно-немудрена,
всего-то в сердце и вмещалась
звучащей капелькой она.

Но мне и малого такого
по смерть богатства не избыть:
уменья чтить живое слово,
таланта — Родину любить...
Моя любимая Отчизна!
Ты не посетуй на меня,
что я сказать дерзаю: вызнал
тебя, играя у плетня.
Плетнями взгляд свой не обузив
на все четыре стороны,
здесь вижу я: в домашний узел
и судьбы мира вплетены.
Нас в жизнь выводит мать родная,
мы знаем: может только мать,
всесветной розни сострадая,
всю землю сердцем обнимать.
Мы — в матерей. Нам в розни тяжко.
И нет, не нам принадлежит
высокомерное «армяшка»
или презрительное «жид».
В стране березового ситца
иное свойство нам под стать:
надменностью не заноситься,
чужих домов не умалять.
Как это пышно б ни звучало,
но дом, где мы имели честь
усвоить добрые начала,
душа гармонии и есть.
Он быть душою тем уж призван
для всех народов и земель,
что в нем одном истоков жизни
и колыбель и цитадель.
И если веяньем зловещим
вражда расколет дом родной,
проляжет главная из трещин
сквозь весь порядок мировой...

Все так. Однако от убийцы,
что так ли падок на разбой,
бывает, надобно отбиться,—
и мы солдаты в час любой.
Мы жизнь положим за Россию,
чтоб впредь забыть ей те дома,
где мать, узнав про гибель сына,
поет, сведенная с ума.
Но сыновей еще не вдосталь
войне. И век бы нам не знать
страшнее гибели — сиротства,
когда не сын убит, а мать.
Вот это страшным и бывает,
ведь, как там кто ни суесловь,
со дна могилы поднимает
лишь только матери любовь.
Когда же вдруг с землей расстаться
сама себе велит она
и станет не за что бояться,—
один сражусь с тобой, война!
Один! А явится кончина,
я с тем обрадуюсь судьбе,
что нет ни дочери, ни сына:
не дам им плакать по себе...
Я между тем для перекладин
ищу жердину или брус:
мать просит лестницу наладить,
я ладить лестницу берусь.
В сарае, в рухляди старинной,
легко нашел я, что искал:
две деревянные станины —
еще прабабкин ткацкий стан.
По современному уставу
я взвил секиру над старьем,
но рубанул я не по стану,
коль вскрикнул он под топором.

По запоздалому наитью,
палач невольный, понял я,
что пресеклась живою нитью
на мне крестьянская семья.
Мать отвернулась, чуть не плача,
с морщинкой скорбною во лбу:
уж больно бойко я означил
ступеньку в новую судьбу,
где нам отныне выходило,
с той пашни полнить закрома,
что обрабатывает сила
воображенья и ума...
Мать в дом зовет. Порог минуя,
со света щурясь, вижу я
стол, за которым вкруговую
садится завтракать семья.
А мать опять в углу батрачит
у той печи, где целый день
в настенном отблеске маячит
ее — под притолоку — тень.
В лицо теплом дыша, как кратер,
той тенью выразит очаг,
что дом не матица, а матерь
бессменно держит на плечах.
Воспрянь же, мать, по-молодому
и правь свиданья торжество,
невольница большого дома
и самодержица его!..
Поев из праздничных тарелок
на белой скатерти с шитьем,
в рубахах глаженых и белых
из дома к сверстникам идем.
И в этом выходе, убыстрив
все ритмы, время настает
переключить рычаг регистра
на десять с лишним лет вперед.

...Уходим. Свидимся не скоро.
Уже для нас открыта дверь
квартиры дома городского,—
скорблю: без матери теперь.
К балкону полночью сырою
прильнув, прошепчут тополя,
что слиты с матерью родною
мать-Родина и мать-Земля.
Но мне увидится с балкона,
как вдалеке, на зов судьбы,
двойной копной сухого звона
несем мы прежние чубы.
Там мать стоит, вослед нам глядя,
шепча беззвучно: «В добрый час!..» —
на том же месте, при ограде,
где и встречала вживе нас.
Ее ль забудет наша память?
Ведь только матери дано
все нам отдать, себе оставить
лишь горе горькое одно.
Тому, кто в циники не вышел,
кто в сыновьях твоих, о Русь,
нет слова честного превыше,
чем это: «Матерью клянусь!..»
От дома двигаясь все дальше,
мы убедимся: только он
сквозь годы будет нас без фальши
настраивать, как камертон.
Дыханьем вишенья медовым
душа овеется сполна,
когда теплом родного дома
найдет нас лирики волна.
Мы снова целостны. Мы — дети
в цельнейшем этом из миров
среди единственных на свете
черемуховых островов...

Да будут верными сынами
и наши внуки в добрый час,
покуда память наша с нами
и наша памятливость — в нас!